



## ЧАСТЬ I

### 1

Ей снился запах. А еще — зеленая лужайка на даче, белая бабушкина шляпа и солнечный зайчик, пляшущий на боку медного таза с яблочным вареньем, горячий и пряный дух которого настырно проникал в ее сон, щекотал ноздри, и даже во сне слышалась-ощущалась легкая волна корицы, которую бабушка всегда зачем-то добавляла в яблочное варенье. Выплывать из сна, из запаха вовсе не хотелось. Хотелось, наоборот, глубже зарыться в одеяло, спрятать голову под подушку и еще хоть самую малую капельку пожить той прежней чудесной жизнью, когда была дача в Соновке, когда бабушка была здорова и варила себе в удовольствие варенье в медном тазу, наклоняясь к нему мягко свисающими полями большой белой шляпы...

И все же надо вставать. Если полежать в этом счастье пять минут, то Петьке придется идти в школу без завтрака. А если полежать еще пять минут, то придется ему идти и во вчерашней несвежей ру-

башке, потому как погладить чистую с вечера сил не нашлось — свалилась спать как убитая. Конечно, с вечера — это громко сказано, потому что «вечер» начинался для нее в три часа ночи, после возвращения с работы. Да уж, работы... Если так можно назвать двадцатичасовое стояние у мойки на кухне большого кафе, да еще под грохот незамысловато-популярной музыки из зала, да еще под противно-прогорклый, но все равно кажущийся на голодный желудок таким аппетитным запахом жарящихся на дешевом масле размороженных отбивных и бифштексов. Но зато «сутки через сутки», как называл все это безобразие Сергунчик, шустренький директор дешевого и популярного в округе кафе. Зато сегодняшние «сутки» она проведет дома, с бабушкой и Петькой, и наверстает свое необходимое домашнее присутствие...

Василиса откинула одеяло и с силой сбросила ноги на пол. Они гулко бухнули тяжелыми пятками о тоненький матерчатый коврик, не желая никоим образом функционировать с оставшейся лежать на кровати второй половиной тела. Она, эта вторая половина, сопротивлялась до последнего свершающемуся над ней насилию. А чего еще от нее, бедной, можно ожидать после жалкого трехчасового ни-сна-ни-отдыха, да еще так досадно разбавленного дразнящим горячим, пришедшим из прошлого яблочным духом... Уперев кулаки в матрац, она оторвала наконец

от подушки голову, встала с постели и, пошатываясь, пошлепала босиком в ванную, по пути с силой постучав кулаком в Петькину дверь. Ничего-ничего, сейчас и завтрак будет, и рубашка, и бабушкин утренний положенный туалет с железной уткой, мокрым полотенцем и добрым словом в поддержку...

Уже через полчаса они сели завтракать. Петька, пыхтя, притащил на самодельной грубой каталке, сделанной из старенького легкого кресла, бабушку из ее комнаты, героически вздохнул над тарелкой с порцией серой овсянки и щедро плеснул в свою чашку с чаем побольше молока — подсластил себе пилюлю немного...

— Вась, а когда мы стихи Колокольчиковой сочинять начнем? — деловито осведомился он у сестры, доедая свою порцию каши. — Который уж день обещаешь!

— Ой, Петь, ну вот давай сегодня вечером, а? Вот сегодня вечером — обязательно, слово даю! — виновато протянула в его сторону Василиса.

— А что, твоя Колокольчикова без стихов никак не проживет? — с улыбкой обратилась к внуку Ольга Андреевна. И, повернувшись к Василисе, тихо засмеялась: — Смотри, Васён, какие нынче пятиклассницы пошли — без стихов к ним даже и не суйся...

— Да, бабушка... — вздохнул в ответ Петька мечтательно. — Колокольчикова, она такая...

— Ну, что ж. Наверное, это и хорошо. Наверное, и правильно. Не все еще потеряно в этом мире, значит...

— Ой, бабушка, ты хочешь сказать, в ваше время тоже девочкам стихи сочиняли, что ли? — удивленно уставился на нее Петька. — Если даже и сочиняли, так, наверное, про ерунду всякую! Когда это было-то, сто лет назад...

— Ну уж, скажешь, сто лет, — протянула обиженно Ольга Андреевна, усмехаясь потихоньку, — обидно даже и слышать от мужчины такое...

Собственно, Ольга Андреевна и в самом деле не была совсем уж бабушкой как таковой, если рассматривать это к ней обращение как показатель женского возраста. Конечно, для внуков своих, Петра и Василисы, по родству она числилась бабушкой, но выглядела еще крепко и очень даже молодожаво, несмотря на перенесенный год назад сильный инсульт, который прошел по ней, как она сама считала, издевательски обидно: крепость эту самую да молодожавость оставил, а ноги практически умертвил. Лучше б, конечно, наоборот, да что теперь поделаешь. Выбирать не приходится. Еще за то спасибо, что жива осталась. Когда сын ее Олег, отец Петеньки и Васены, погиб так нелепо от руки нанятого киллера, тоже думала, жить не станет. Наверное, и всякая мать так думает, единственного сына теряя... Но ничего, выжила. Тогда хлопоты тяжелые да забота о судьбе внуков согнуться ей

не позволили, потому что судьба со смертью ее сына и их отца совершила совсем уж крутой поворот — круче и некуда — и разделила всю их жизнь на прошлую и нынешнюю — вот эту, убого-безысходную. А огромная квартира в центре города, три дорогие иномарки, шикарная дача в Сосновке, Василисина гимназия до восьмого класса с пятью языками и Петенькина престижная начальная лесная школа остались в прошлом, в болезненных воспоминаниях. А после похорон Олеговых выплыли, наехали на них огромнейшие его долги, за которые его и убили, говорят. И откуда они вообще взялись, эти долги, непонятно было, да и не вникал особо в это никто. И то, повезло еще, можно сказать, что осталась им эта старая трехкомнатная квартира, которую за долги не отобрали потому только, что не приватизирована была — руки в свое время не дошли, и в которой им всем и пришлось вскорости поселиться. Да еще жена Олега осталась, красавица Аллочка, совершенно не приспособленное к бедной жизни создание, бросившее Ольге Андреевне через год после смерти мужа детей на руки и отъехавшее по случаю срочного замужества через объявление в Интернете в замечательный германский город Нюрнберг. Вот тогда с Ольгой Андреевной, после Аллочкиного коварного бегства, этот инсульт и приключился. Не вынес организм обиды. И даже и не само Аллочкино бегство ее доконало, а то, как обманула невестка

жениха-немца: в анкете в графе о наличии детей поставила аккуратненький прочерк, тем самым перечеркнув не только их присутствие в своей жизни, но и всю свою прошлую жизнь с ее сыном тоже как бы этим самым перечеркнув...

Так и живет теперь в своем Нюрнберге, будь он неладен. А сюда, к ним, письма шлет. А ей туда ни писать, ни звонить нельзя — ни-ни. Вдруг ее немец узнает, что обманула она его, про отсутствие детей наврав, и выгонит с треском из своего Нюрнберга... И ни о какой настигшей их здесь убогости-безысходности Аллочка не знает: ни об инсульте ее проклятом, ни о безденежье их нынешнем, ни о работе Васенькиной тяжелой «сутки через сутки». Думает, наверное, по-прежнему ее строгая свекровка в чиновницах больших сидит да судьбу внуков по своему разумению устраивает. Да и то, бог с ней. Пусть там и живет — все равно толку от нее никакого. Да если б не обезножела так не вовремя, неужель бы она и в самом деле внуков своих не подняла? Еще как бы подняла, тут и разговору нет...

Ольга Андреевна практически всю свою сознательную жизнь провела в крупных чиновницах, проработав в казначействе начальницей контрольно-ревизионного отдела, государственную казну на этом важном месте своей грудью, можно сказать, тщательно охраняя. Дамой она была бескомпромиссной, честно-въедливой и высокооплачиваемой. То есть исключительно вредной и никаким образом неподкупной. За ее принципиальной спи-

ной всю жизнь казначейское начальство и пряталось, и выставляло ее впереди себя гордым знаменем, показателем абсолютной чиновничьей честности да бескорыстной порядочности — смотрите, мол, и мы все точно такие же... А случилось с ней горе, и отвернулись все друженько. Она и не обиделась. Знала, что в среде чиновничьей так и происходит всегда. Сошел с рельсов, и валяйся на обочине, и не вспомнит о тебе никто, потому что некогда: игры чиновничьи — это вам не корпоративные какие-нибудь хитрые отношения, это своего рода ходьба по канату тоненькому: подтолкнули тебя слегка, и летишь под откос...

— Бабушка, ты чего вздохнула так горестно? — повернулась к Ольге Андреевне от мойки Василиса. — Вспомнилось что-то?

— Да так, Васенька, ничего... — встрепенулась Ольга Андреевна. — Ты меня подвези-ка лучше к воде, я сама посуду помою. А то не намылась ты ее на работе за двадцать-то часов!

— Ой, да ладно... — легко махнула рукой Василиса и вздохнула украдкой. — Подумаешь, три тарелки да три чашки...

## 2

Да уж, подумаешь... Это сказать легко и рукой махнуть легко, а стоять почти сутки над нескончаемыми жирными тарелками в горячем пару моеч-

ной — это уже ой как не подумаешь. Иногда и в глазах серо-мутно становится, и тошнота подступает от усталости, и хочется изо всех сил не надирать эти проклятые тарелки мыльной рекламно-прекрасной жидкостью, а колотить их об пол столько, сколько сил хватит!

Только бабушке знать об этом вовсе даже не обязательно. Бабушкину нервную систему надо оберегать, охранять самым строжайшим образом от любых стрессов и переживаний, иначе она, эта ее нервная система, так и не образумится никогда, и не даст никакой надежды на бабушкино от инсульта выздоровление, на вожделенную положительную динамику в убитых проклятым параличом мышцах. Явления этой самой динамики они с Петькой и приходящей к ним в дом через день массажисткой Валерией Сергеевной давно ждут изо дня в день, как чуда, как спасения, как благодати Божьей...

В кафе Василиса устроилась сразу после выпускных школьных экзаменов, буквально на следующий день, потому что бабушкина болезнь к тому времени успела съесть все их денежные скромные припасы, а массаж, по утверждению Валерии Сергеевны, никак прекращать было нельзя, хоть земля с небесами треснут да разверзнутся в одночасье. Так что с работой Василисе, можно сказать, повезло. Ее сначала официанткой взяли, и два месяца она проходила по большому залу кафе

в нелепо сидящем на ее крупно-несгибаемой фигуре легкомысленном фартучке с оборочками и белой заколке-короне в волосах, как того требовали дурацкие правила, ностальгически привнесенные из прежней жизни хозяином кафе, нестареющим вертлявым шустрячком Сергеем Сергеичем, в народе называемым просто Сергунчиком. Сколько было ему лет на самом деле, никто толком не знал. Может, сорок, может, меньше. Может, шестьдесят, может, больше. Был он без дела шумноват, очень прост и нахален — рубаха-парень такой, весело и со вкусом стареющий.

Василису Сергунчик сразу невзлюбил за непонятную отстраненность от коллектива, молчаливо-гордую сосредоточенность и за раздражающе правильно поставленную речь. А после того, как пару раз на нее пожаловались посетители, и вовсе перевел в судомойки. Оказалось, не понравилось посетителям, как она у них заказ принимает. Сказали, будто дискомфортно им отчего-то. Будто они не в дешевой кафешке свои отбивные заказывают, а где-нибудь в Виндзорском замке пристают униженно к ее высочеству с глупостями всякими недостойными...

Так она и оказалась в судомойках. А что делать — выбора у нее не было. Зато рядом с домом — только дорожку перейти, нырнуть в спасительную арку, потом во двор, и все. И она дома. И с одеждой зимней можно ничего не придумывать, голову себе

не морочить — все равно купить не на что. Зато следующий день после этого ада — свободный. День-рай. День с бабушкой, с Петькой, с самой собой. Да и ад этот, если разобраться, не совсем уж и ад... Василиса к нему попривыкла как-то. Опять же, можно себя не насиловать, не «отслеживать лицо», как Сергунчик говорит, не улыбаться по-официантски мило и подобострастно-приветливо — все равно не получается у нее. А можно, наоборот, отвернувшись к грязным тарелкам от всего этого суетливо жрущего и пьющего безобразия, распрямить спину, гордо вытянуть шею и даже представить на себе чего-нибудь необыкновенное — малиновый берет, например, с большим пером: кто это там, мол, в малиновом берете с послем испанским говорит... А можно и в прошлую жизнь нырнуть хоть ненадолго. Надолго нельзя — потом обратно возвращаться тяжело очень. А на каких-нибудь полчаса вполне даже можно — вспомнить про папу, маму, про прежнюю свою школу... Очень хорошая была школа. Она тогда по наивности полагала, что все школы только такими и бывают, в которых учителя внимательны, заинтересованны и доброжелательны, что свежесжатый сок на перемене, стильно-удобная униформа и физкультура в бассейне — обязательная, для всех одинаковая школьная атрибутика. И очень была удивлена, когда обнаружила вдруг, что в следующей школе, в которую ей пришлось идти после

катастрофически быстро свершившегося сиротства, все совсем, совсем не так... Странно и дико было ей на первых порах наблюдать, как кричит на учеников задерганная, плохо одетая учительница, как злорадно-торжествующе посматривают в ее сторону девчонки-одноклассницы, как ругаются они так, что уши режет, со взрослым вкусом через каждое слово, как бьются гордо и в одиночку редкие умники-отличники, пробивая себе через тернии дорогу к хорошему аттестату... Так и не смогла она привыкнуть за два года к новой школе, и не подружилась ни с кем, и аттестат получила средненько-плохой, четверочно-троечный. И не в том даже дело было, что интерес к учебе пропал. Да и не пропадал он никуда, просто трансформироваться не сумел удачно. Не хотела она так учиться, и все тут. Да и времени особо не было опомниться, выскочить из круговерти горестных событий...

А вот у Петьки, слава богу, гораздо мягче все переустройство жизни произошло. Его вообще в школе любят, и друзья какие-никакие появились, и даже влюбиться уже успел в одноклассницу, в Лилию Колокольчикову. Василиса, правда, эту Колокольчикову пока не видела, но за Петьку все равно страшно рада была. Побайвались они с бабушкой за него поначалу — он мальчишка мягкий, искренний, открытый, к миру жестокому всей душой наивно повернутый... А он ничего, молодцом оказался, все по-взрослому, по-философски при-

нял. И даже бегство материнское. Хотя, может, и страдает потихоньку. Даже и наверняка страдает, не признается только. Когда от матери письмо очередное приходит, запирается в своей комнате и читает его там подолгу, и плачет, наверное. Он вообще очень на мать похож, и характером, и внешностью ангельской — те же распахнутые миру светло-зеленые глаза, те же пушисто-вьющиеся, с золотым праздничным отливом густые волосы...

Зато Василисе материнской красоты не досталось ни капельки. Высоким ростом и некоторой неуклюжестью она напоминала давно вышедшую из формы, слегка поправившуюся манекенщицу, которую, как ни бились, так и не научили ходить правильно, потому как, несмотря на прямую спину и гордо вытянутую шею, она упорно косолапила при ходьбе и некрасиво размахивала руками и была совсем не ухожена лицом. В общем, не была сексуальной, не получалось у нее этого старательного выпячивания наружу плотской красоты. Бог таких талантов не дал. Но в то же время было в этой девушке что-то особенное, может, более основательное, чем пресловутая сексуальность, что заставляло на ней задержаться взгляд. Пусть не для того, чтобы полюбоваться ею по-мужски одобрительно, но все же останавливало. Сила, может, какая ее внутренняя. Сила отцовской основательно-крепкой породы — с широкой мужской костью, высоким ростом, с мощным разворотом

плеч, с грубо, даже топорно вырезанными чертами лица, будто природа, ее создавая, торопилась куда-то и недозавершила-недоделала это тонкое дело: глаза прорезала глубоко, а форму им придать поленилась, оставив вместо нее узкие монгольские щелочки, и нос тоже будто в три приема слепила, и над губами не особо пофантазировала — очертила резко, по-мужски угловато, без особых женских изгибов-прелестей. Какое-то монголо-европейское лицо получилось. Совсем без женского мило-кокетливого обаяния да очарования, но и далеко не простецкое. Отцовское, в общем, лицо. Василису устраивало. Хотя мама, она помнит, частенько вздыхала, на нее в детстве гляючи, и приговаривала чего-нибудь эдакое, вроде: учишь хорошо, Васенька, тебе обязательно надо уменькой быть... Сама-то она всегда в писаных красавицах числилась, в любом возрасте — воздушно-нежная фея из сказки про Золушку, созданная исключительно для дорогого комфорта, для украшения жизненного. Она ж не виновата, что комфорт взял да и развалился в несколько дней... А по-другому, чтоб не украшением, она жить не умеет, не научил ее никто, да и необходимости такой не было. Она, когда в восемнадцать лет замуж за отца выскочила, сразу попала в довольно обустроенный и добротный по тем временам быт профессорской семьи своего молодого мужа, а вскорости уже и Василису родила — когда же ей

учиться-то было? Да никто особо на этом и не настаивал. Тем более когда Василиса подросла, она еще и Петечку родила. А потом и вовсе незачем стало, потому как отец, по-умному вычислив и упредив грядущие в стране перемены, быстро пошел в гору и вскоре смог обеспечить разросшейся семье довольно основательный, соответствующий новому времени комфорт, в который мама всей своей неземной и воздушной красотой очень, ну просто очень органично вписалась. Прямо как тут всегда и была. Теперь так же и в немецкий комфорт быстренько вписалась, если судить по частым письмам, в которых она расписывает свое новое житье-бытье. Такое чувство, что она каждый день их пишет, письма эти...

— Бабушка, а где последнее письмо от мамы, я не читала еще? — встрепелась от нахлынувших непрощеных мыслей Василиса, и тут же пожалела о сказанном, и прикусила себе язык: сколько раз себе слово давала — не ворошить без надобности запретную тему...

— А что, разве опять от нее письмо пришло? — невозмутимо-старательно ответила вопросом на вопрос Ольга Андреевна, гордо вскинув голову и глядя куда-то мимо Василисы. — Я не в курсе, Васенька, ты же знаешь, я ее писем не читаю...

«Вот так вот вам. От нее. Как будто у мамы имени нет и никогда не было, — улыбнувшись про себя, подумала Василиса. — Такие вот мы, непре-

клонно-гордые и обид не прощающие...» Вздохнув тихонько, она еще раз ругнула себя за оплошность — вот угораздило-то. Мама с бабушкой и раньше, в лучшие их времена, не особо хорошо ладили — так, обходили вежливо-равнодушно обоюдострые углы. Не ссорились, конечно, но и не дружили особо, довольствуясь общепринятым компромиссом, то бишь признанием единосовместных прав на общего мужчину — кому сына, кому мужа... В глубине души Василиса почему-то уверена была, что бабушка вовсе и не обижается на маму, что давно уже простила ей немецкое бегство. Потому что совсем не глупой была бабушка, потому что должна была понимать — маму ни при каких обстоятельствах в судомойки не запишешь, да и любой другой работой особо не обрешь. Если, конечно, растоптать-уничтожить не захочешь... Так она просто сердится, для виду. Марку держит. Ну что ж, пусть...

— ...Василиса, ты не слышишь, что ли? — снова выплыл откуда-то из пространства бабушкин голос. — В дверь три раза уже позвонили! Иди, открывай быстрее, это же Лерочка Сергеевна пришла!

### 3

Лерочка Сергеевна была очень, очень дорогой массажисткой. Но слава про нее ходила просто необыкновенная. Говорили, она от пациента

своего не отступается до тех пор, пока на ноги не поставит окончательно. Заполучить Лерочку Сергеевну в массажистки вообще считалось большой удачей — все равно, что птицу надежды за хвост поймать. Да она и не бралась за каждого, тонко и четко определяя грань своих возможностей: вот здесь я смогу, а тут уж, извините, только Господь Бог поможет... А за Ольгу Андреевну взялась. Вот уже восемь месяцев подряд она трудилась над ней не покладая, как говорится, своих сильно-мускулистых профессиональных рук, приговаривая при этом уверенно каждый раз: «Будет, будет динамика... Не может не быть... Чувствую, что будет...»

Василиса, слушая ее бодрое бормотание, про себя тоже проговаривала каждый раз, как молитву, как заклинание какое: « Будет... Будет динамика... Не может не быть...» И свято верила, что будет обязательно. И верила, что не может не быть.

Только вот оплачивать услуги Лерочки Сергеевны становилось с каждым днем все труднее, на это уходили практически все заработанные в кафе у Сергунчика Василисины деньги. Мало того — еще и с бабушкиной пенсии приходилось иногда прихватывать... Василисе даже сны страшные снились на эту тему: вот Лерочка Сергеевна пришла, а у нее и денег нет, и вот она уходит, так и не сделав очередной массаж, и уносит с собой последнюю надежду...